

Широко настезь распахнулась калитка, и стремительно вошел эдакий коренастый, широкоплечий мужчина лет сорока пяти. И перехватило дух, сковало движения. Да это Николай! Коля-второй. Он! Друг мой.

— Колька! — наконец ахнул я вслух и бросился в объятия, как делали мы с ним, встречаясь в интернате после летних каникул. Как быстро и незаметно пролетело время! Вернуть бы его да прожить заново.

— Это сколько же лет мы не виделись? — вопрошает друг, снова заключая меня в свои сильные руки.

— Порядочно. Лет этак двадцать пять.

...После недолгого застолья пришли мы к трем столбам, так называется берег и моя любимая заудь у крутого поворота реки. Тут каменисто, глубоко, и самое рыбное место.

Сидим и глядим, как отгорает закат, как сереет небо и вода утрачивает свою текучесть. Неуютно, хмуро и пасмурно. И пришла минута, когда я остро почувствовал, что мы — дети, пришедшие сюда забыться, отдохнуть от крика, шума, гама.

— Ты знаешь, как я ждал этой минуты: изо дня в день, из года в год, — говорит мой друг, — и вот — свершилось, состоялось. И поверишь ли, когда увидел наш интернат, кое-как удержал слезы и не мог оторвать взгляда от школы, от берез...

Эх, видно, те интернатовские годы будут сидеть и жить в душах всю нашу жизнь. Николай что-то говорит, но я не столько слушаю друга — сколь вспоминаю свое...

Отец умер сорока лет от фронтовых ран. По возрасту я его пережил. Я молод, полон сил и энергии, а он в свои годы был старым-престарым, столетние дедушки казались красивее его. Мне в ту пору шел двенадцатый год, перешел в пятый класс, и был с малолетства хром на одну ногу. Старшие братья в армии служат, младших четверо. В доме ни куска хлеба, ни обуться, ни одеться, и спали мы зимой на печи, летом на полу, телогрейка — внизу, телогрейка — вверху. И голосила мама с утра до вечера, что же ей делать с эдакой оравой, как быть. Сунулась было в военкомат, да там ответ один, старшие должны служить, так положено, пусть местные помогают. В колхозной конторе разговор один: помочь нечем, вы и так в долгу по уши. Откуда они, долги, брались, для всех оставалось загадкой, ведь не брали ничего, только работали, даже братья перед армией трудились прицепщиками-сеяльщиками, а долги росли как на опаре.

И нашлась добрая душа, подсказала маме сдать меня в Ново-Троицкую школу-интернат, где кормят, обувают и одевают бесплатно.

Мама собрала какие нужно документы и отнесла пешком за пятьдесят верст в Районо, там кому нужно вручила, обсказав словами о своей жизни и обо мне. Ее внимательно выслушали и, подшив документы, сказали, чтоб ждали результата.

И началась морока: для меня — это как я буду жить без друзей, без матери, сестренки и братишек где-то далеко-далеко, где, поди, мальчишки драчливые, учителя вредные, и тосковало сердце, и муторно было на душе; для матери — это во что обует и оденет меня, чтоб не смешить добрых людей, и копила яйца, чтоб, сдав их в магазин-лавку, можно было доехать до аймака на автобусе. Вечером, собрав яйца, долго подсчитывала, хватит ли на билеты, запутывалась, плакала, снова считала, и в конце концов, расплакавшись пуще прежнего, сквозь слезы, наказывала учиться хорошо, не баловаться и слушаться старших.

И вот пришло письмо, где говорилось о том, что я принят в Новотроицкую школу-интернат.

И еду я первый раз в автобусе, в аймак под названием Кырен, где, поди, домищи стоят, как в кино, огромные да высокие, где улицы широкие, прямые, чистые, а по ним бежит много-премного всяких разных машин, где прохожих видимо-невидимо.

В автобусе людей набито, как в бочке селедки, меня стиснули со всех сторон, и не видать ничего, и не слышать, один шум двигателя да говор бурят, эдакий громкий и странный, ну ничегошеньки-то не понятно, о чем они говорят, чему смеются.

И вот стоим мы на остановке, голосуем, да нас никто не берет, хотя и в кабине, и в кузове свободно. Я по сторонам гляжу и удивляюсь, все как в нашей деревне, только наша маленькая — эта большая, ну ничего интересного нет. И в нашей-то сейчас безлюдно, одни старики да дети, все в поле, на работе, а тут по улице праздно ходят, кто с сумками, кто просто так без ничего. Вот бы сюда нашего бригадира с бичом, как бы он врзал, да как похлопал кнутовищем по галифе,

так враз бы улицы, как у нас, стали тихие-тихие, а то ишь хитрые какие, не работают, а полные сумки добра всякого покупают.

Рядом с нами маялась высокая худощавая женщина с губастым мальчуганом. Они тоже ехали в интернат. Мальчик, как и я сам, испуганно жался к матери и нет-нет да поглядывал на меня. Был он чуть ниже меня ростом, и если б не шрамы, то он был бы очень красивым и милым, но раны-шрамы безобразили округлое личико, а неестественно вывернутые губы заставляли меня отворачиваться.

Наши мамки разговорились и давай выплескивать друг другу все свои беды-несчастья. А мы вполуха слушали их и переживали свое, как-то в этом самом интернате будет. И вдруг я с пронзительной ясностью понял, что война-то, виденная в кинофильмах, узнанная в книгах, не окончилась, она продолжается: вон и наших тятек нет, мамки, как старухи, ссутулены, плечи под тяжким бременем опущены, на лицах одни морщины, а ведь им нет и сорока лет, и вот теперь эта война больно, рикошетом, ранила нас, и мы как подранки, словно в последний раз, с жалостью глядим, сопереживая нашим матерям, и жмемся к ним, как бы ища защиты.

И это было последнее проявление мальчишеского сердца, там в интернате оно, сердце, быстро задубеет, и мы уже не позволим не только себя поцеловать, но и выказать нежное чувство.

Наконец нашлась добрая душа, остановилась полуторка, посадили нас в кузов, и мы поехали. И понеслись луга и поля назад, и горы тоже, правда, те, что слева быстрее, они рядом, заросшие лесом, и потому в огне. Те, что справа, дальше, они оснежены, высоки, скалисты, и их словно облили чернилами. Но я не смотрю на них, я смотрю на те, что привык видеть с самого рождения, и потому они красивее, хотя отсюда кажутся низкими-пренизкими.

Вот машина свернула на проселочную дорогу и мимо редких домов, мимо привычных подпольных ям, мимо деревянного клуба-церкви, на которую наши мамки украдкой крестятся, поворачивает влево, и мы проезжаем мимо школы. Ее-то, старенькую, приземистую, мы сразу выделили и отличили. Мимо других строений, и останавливаемся перед воротами, где поверх полощется «Добро пожаловать!».

И сразу нас окружили разного калибра пацаны, и все буряты, и ни одного русского. Это куда же мы попали? Заныло, затосковало сердце.

На глазах у пацанов мы слезли с бортов машины и пошагали к приземистому дому-интернату.

В прихожке-сушилке была печь голландка и близ стояла железная высокая и широкая с полочками лесенка, где сушилась обувь. Справа у окна за крашеным канцелярским столом сидел лысый и весь какой-то округлый человек, назвавший себя воспитателем, Семеном Александровичем.

Он прочитал письмо-вызов, оглядел нас, спросил имена и обескуражил:

— Ты, постарше, будешь Николай Первый, а ты, помладше, будешь Николаем Вторым. Вопросы есть? — (нет, вопросов не было). — Пойдите в спальню, — отомкнул ее, вошел, мы вчетвером за ним. — Вот ваши койки.

Глаза у Коли-второго и у меня загорелись: да неужто мы будем спать на таком благолепии. Ух ты-ы!

Кровати стояли рядом, их разделяла тумбочка. Я занял место у стены, трогая безлизу простынь, подушки и полотенце, свернутое конвертиком, заглянул в тумбочку. Это как-то произошло само собой и я, застеснявшись, потупил голову.

— Учись хорошо, сынок, слушайся тех, кто старше себя, — привычно заученно проговорила мама, впервые после смерти отца наливаясь румянцем. Она глядела то на меня, то на Семена Александровича, то обзревала всю спальную комнату, где коек было штук пятнадцать, и радовалась за меня. В эту минуту она была красивой. Я глядел на нее и умолял взглядом, всем своим видом: нет, не хочу здесь жить, я хочу домой. И мама поняла, построжела лицом, всем своим видом показывая, как здесь хорошо, чисто и бело.

— Ну, живите, дружите, не балуйтесь, хорошо учитесь да слушайтесь старших, — наконец пришла в себя и Колина мама. — А нам домой пора. Когда-то дойдем.

Плакать захотелось от этих слов. Потупились, ждем чего-то.

— А ну-ка, Султан, сведи-ка их в столовую, пусть покушают, — вдруг распорядился Семен Александрович и, видя, что наши мамки замялись и снова раскраснелись, подтолкнул обеих. — Идите-идите, не стесняйтесь. Дорога-то не близкая.

Он-то думал: семь верст до аймака, а наши матери отшагали все шестьдесят верст и пришли домой только утром, когда солнечные лучи брызнули из-за гор.

И вот Султан ставит перед каждым тарелку с супом, где лежат куски мяса, потом приносит тарелки с кашей и котлетами и в последнюю очередь ставит стаканы с компотом.

У мамок от такого обилия пищи потерялся дар речи, они глотают не то слезы, не то слюну и боятся притронуться к ложкам.

У нас одна мысль: вот это да-а! Вот здорово! Да неужто так будет всегда?

Поели, поблагодарили, вышли. Нас целуют, говорят какие-то слова, прощаясь и поминутно оборачиваясь, они уходят.

Тоска. Жуть. На глазах слезы. Они вот-вот брызнут на потеху детворе, которая берет в кольцо и начинает пытаться:

— А че у тебя губы такие? — и страшно выворачивает свои.

— А че ты хромаешь? — и передразнивают, как я хожу. И вдруг я впервые вижу свою походку со стороны, и внутренне весь обмираю, да неужто так страшно хожу, и мне делается ужасно стыдно, и хочется догнать мать и уйти навсегда, но меня не пускают, держат, а более старшие раздают направо и налево подзатыльники тем, кто только что, кобенясь, показывал мое уродство.

— Тебя как зовут? — спросил прыщеватый парень, по-доброму глядя в глаза и держа обеими руками за плечи.

— Коля, — размазывая слезы по щекам, ответил я.

— Тезка значит. А фамилия?

— Деревянкин.

— О-о! Да ты братан мой! Понимаешь, нет? — и давай обнимать да приговаривать: — Попробуйте хоть пальцем тронуть — зашибу. Поняли, нет? Это мой братан. Ясно?

Братаном оказался восьмиклассник, бугаина лет восемнадцати. Кулаки во, плечи с метр, сам ростом с каланчу, глаза маленькие невзрачные, зато носище — с картофелину, и рот большой, с отвислыми губами-пельменями. Его и звали-то Пельмень. Ел за четверых, долго тщательно разжевывал пищу. Сразу чувствовалось, какое удовольствие приносит ему вкушение оной.

И никакой я ему не был братан, просто однофамильцы, волею судьбы оказавшиеся под одной крышей. Отец у него погиб на войне, мать в поезде под бомбежкой. Он один чудом уцелел, но не терял надежды найти мать, а вдруг жива, и

писал всюду письма, с нетерпением ожидая ответа, и дождался перед выпускным экзаменом, то писала сама мать. И я видел слезы у сурового, порой жестокого и беспощадного человека. Потом он уехал.

Первое время чуть ли не каждую неделю приходили письма, где он перво-наперво просил не обижать меня, потом описывал, как гуляет по саду и поедает яблоки, и мы, читая и перечитывая его послания, угорали от смеха, представляя в каком количестве и с какой жадностью он их поедает. Потом письма стали приходить реже и реже, и наконец замолчал, видно, привык, освоился, напрочь забывая безалаберные интернатовские годы.

И запомнился он мне важно восседающим на лавке возле печи, мужским оглушительным хохотом, уж очень большой он был мастер по части анекдотов. Вот наговорится, нахохочется досыта, до самозабвения и вопрошает:

— А ты чё, Доржа, давеча стерпел, не огрел Жамсорана по шее? А?

— Да ну его, — вяло, без всякого интереса отнекивается парень.

— О-о, да ты струсил ненароком. Он-то, Жамсо, сильнее тебя, — и хитро так поглядывая, ждет, что будет.

— Это я-то трус! Да я, да он... — бубнит Доржа, с каждым словом возбуждаясь и полнясь обидою на своего же друга.

— А ну говори, чё я! — требует ясности Жамсо, вскакивая со стула.

— Ну что вы, братья-кролики, расшумелись, у вас что, нет кулаков. Вот так. Хорошо! — подбадривает мой братан дерущихся. — Куда! Да не так! Под дыхало. Во-во! Отлично!

На драки я никогда не смотрел, крови ужасно боялся, даже теперь боюсь зарубить курицу, но за лицами ребят наблюдал, особенно за лицом брата — это было кино — оно менялось ежесекундно: от самого свирепого до самого плаксивого, и было столь комично, что без смеха глядеть было невозможно, и я то загибался от коликов в животе, то падал с лавки и никак не мог остановиться от раздиравшего все мое тело смеха.

— Ну-ну, будя, будя, — хватая руками-клешнями за шкурки, разнимает братан друзей, садит подле себя, — успокойтесь, отдохните, я вам сказочку расскажу, — расскажет и снова подначивает. — Ты, Жамсо — слабак. Доржа вон как тебя мутузил, а ты так только руками махал. Эх, ты-ы!

И вновь начинается бой...

— Ладно, ты тут привыкай, осваивайся, а я до девочек пошел, — похлопывая меня по плечу, проговорил новый знакомый и, выпрямившись, вихляя чудно задом, пошел до девичьего здания, стоящего напротив столовой.

— Чё, правда братан твой? — растягивая слова, пытается Султан. — Ну, паря, повезло тебе.

— А ты, паря, в какой класс пойдешь? — без интереса спрашивает Руха-Муха, хвастаясь ириской.

— Руха-Муха, дай хоть одну, — стал каночить обгорелый маленький парнишенок, протянув руку.

— В пятый, — просто ответил я, отчего-то застенявшись и покраснев.

Впервые мне стало стыдно и нехорошо. Был я выше и старше всех.

И в это время заиграл чудно горн: бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед!

И все, как по команде, побежали в березовую рощу, там на поляне, близ флагаштока построились в две шеренги, друг против друга, мальчики отдельно, девочки тоже.

Шум, гам, бестолковщина, а воспитатели и директор школы стоят и никакого внимания не обращают. Наша бы учителька из себя вся вышла: и указкой поколотила, и изругалась, и в угол бы после поставила, а тут смотрят и по-доброму усмеваются, и о чем-то переговариваются меж собою.

И вдруг слышу свою фамилию. Это директор Савелий Будаевич подзывает к себе. Я вышел из строя, стал подходить, наступил на круглую палочку и, не устояв на ногах, рухнул всем телом. Меня подняли:

— Коля, сядь на помост, ведь тебе трудно стоять.

И эта забота меня сбила с толку, поразила и обескуражила, ведь дома-то учителька ставила меня к доске на урок на два, а то и на все, смотря в каком настроении она была, а тут внимание, забота, и я бездумно сел на виду у всех. Под перекрестными взглядами: любопытными у мальчиков и жалостливыми у девочек, мне вдруг стало так стыдно, неловко и маятно, что сидел первое время как на иголках, не знал куда глядеть, кого слушать — это как окатили тебя кипятком. Хочется бежать, и ты не смеешь кричать — перехлестнуло горло, и тебе жутко больно, но никто этого не видит.

Но любопытство победило, и я подчеркнуто безразлично стал оглядывать сначала мальчиков, потом девочек, пока мой взгляд не остановился на девочке, которая оказалась моею одноклассницей и которую звали Ниной. Среди широких скуластых лиц, с черными как смоль волосами, ее личико было милостивым и привлекательным, и было оно к тому же таким плаксивым, словно ее только что побили или жутко оскорбили. Что-то дрогнуло во мне, проснулось. Я не отводил взгляда. Пытался проникнуть в ее сознание и понять ее боль. Мне было жаль эту чудную девочку, и так жалко, что не потерял ее из виду даже тогда, когда окончилась линейка, и кто-то стал играть в выжигалы, кто в футбол, а кто в волейбол, став кругом и гоняя таким образом мяч, а кто стоял и смотрел на играющих. Стояла и Нина, тесно прижимаясь к шероховатому, со множеством зарубок стволу березы. Стал недалеко и я, после того как был изгнан из всех игр.

Сгорая от стыда и все еще слыша изумленное: «Ты куда! Ты ж хромой», я спрятался за толстый ствол дерева и оттуда, из укрытия, отыскал глазами тонкую фигуру девочки, и стал наблюдать за нею, снова и снова переживая свой позор, ведь она все слышала и видела.

С тяжелым сердцем и с камнем в душе я засыпал первую ночь на мягкой постели под духовитыми простынями, в думах уносясь к дому, к играм, к друзьям.

Ворочался и новый мой друг Коля.

Но разговаривать с ним мне не хотелось, глушила обида, слезы, и виделась лица ребят, полные недоумения, и слышалось: «Ты куда? Ты ж хромой! Хромой! Хромой!»

Еще никто мне так не говорил и из игр не гнал, в своей деревне я был на равных, как все, носился, бегал и совсем не подозревал, как я уродлив. И стыд прожигал огнем мою душу.

Не спал и мальчик Гена. Его койка поминутно скрипит, как немазаная бурятская телега, на которой к нам в деревню возили в бочках молоко черные, как Бабы-Яги, из соседнего улуса девки и бабы. Скрипит койка, тихо не то стонет, не то плачет мальчуган, и плач его тихой болью отзывается в моем сердце. Мне так жалко его, что самому хочется плакать, ведь на Генином теле нет чистого места: все в красных рваных рубцах, шрамах, и сама кожа потому красная и во многих местах столь тонкая-претонкая, что кажется, от одного прикосновения пальцем брызнет алая-преалая кровь.

Как узнаю я, уже став взрослым, он, Гена, с отцом своим купался на Вышке. Есть у нас в долине такое место, где из-под земли по скважине бежит сероводородная целебная горячая вода с зеленоватым отливом. Ее добыли на берегу Иркутта геологи. Чего они там бурили, чего искали? Кто знает, забили скважину, сделали анализ, водичка-то оказалась целебная. Как водится, наставили времянок под жильё, построили ванный корпус, и поехал хворый люд лечить свои болячки, а кто просто так приезжал на час-другой, чтоб понежить свое тело в целебной воде.

И вот кто-то возьми да чиркни спичкою: взрыв, пламя, суматоха, и, как рассказывают, мало кому было суждено остаться в живых, но Гена зачем-то не умер, не задохнулся, не был ни раздавлен, ни затоптан обезумевшими людьми, выжил, прожил до двадцати лет и в страшных мучениях покинул этот суетный мир.

Сколько у его матери было детей, я не знаю, как не знаю кто она и что. Знаю одно, что жили они в аймаке, в алгаке. Знаю и то, что Гена никогда не форсил, всегда приходил в интернат с каникул и обратно пешком, никогда не имел карманных денег и потому запомнился с протянутой рукой и канючащим голоском: «Да-а-й ко-о-пе-е-чку». Обойдет он эдак все ряды в клубном зале, соберет и, радостный и счастливый, бежит к кинщику покупать билет.

Вспомню я его, раздумаюсь и в толк не могу взять: как это так, ведь кинщик-то Николай Михайлович по сути своей слыл добрым, отзывчивым, вежливым да услужливым, а вот поди ты, ни разу не пропустил его бесплатно, хотя видел и слышал ежедневно.

А что добрым был Николай Михайлович, не нам лапшу на уши вешать, дом-то на другой стороне дороги стоял, за оврагом, в березовой роще на краю того же оврага, нам ли было не видеть, не знать. И думал я, вот вырасту, женюсь и буду таким же, как он.

...Тихо-тихо скулит Гена, ворочается, и неспроста за час перед отбоем он досыта, до слез, до нервной дрожи поругался по очереди с четырьмя пацанами.

Произошло это так. Руха-Муха, как обычно, не таясь и ни с кем не делясь, достал из кармана новеньких брючек ириску, развернул ее, подбросил и, как циркач, поймал ртом, и, катая, стал сладить.

Тут как тут Гена.

— Дай ириску, — и преданно как собака, глядя в веснушчатое лицо, протянул руку, как совсем недавно протягивал в клубе. Подошел он и ко мне, я дал, но не пять копеек, а десять, и сразу пожалел, больше-то у меня не было, но, как оказалось, зря пожалел, он, купив билет и получив сдачу, тут же вернул ее и, сев рядышком, сияя глазенками, предложил:

— А хочешь, я тебя научу играть на гитаре?

И научил же, да еще как научил! Зато сколько я пережил самых неприятных минут. Генка вспыхивал из-за малейшего пустяка. А терпением и всепрощением никто из нас не обладал.

— Дай ириску, хоть на зубок, — канючит Генка плаксивым тонким голоском.

— Отвяжись, — бурчит Муха сквозь стиснутые зубы.

В ответ — лишь прищуренные от удовольствия глазки и полное равнодушие.

Еще бы! Отец-то кинщик. По всем деревням кино возит и показывает в клубах. Бывал и в нашей деревне не раз. Привезут они кино, замкнут в клубе установку — и на речку рыбачить. А везучие какие, рыба кажется сама с удовольствием цепляется на их крючки. Нарыбачат полный бидончик, наварят ухи, наедятся и в клуб, где не спеша с толком установят все как надо, станут в дверях, продавая

билеты. Причем Руха-Муха заранее обшарит все потайные места, найдет нас, за- таившихся заранее до поры до времени, покличет отца, вытурят нас, и потом уж ни под каким предлогом в клуб не войдешь. Руха-Муха зорко стережет, ужас какой глазастый, муха не пролетит. Где такой жмотина даст? Зря просит Гена.

— Не будь попрошайкой. Не даст он, — попросил я Гену.

— Я — попрошайка? — взвинтился он. — Я попрошайка? — и, подлетев ко мне, потребовал: — А ну забери обратно слово. Не то худо будет.

— А че я сказал-то, — изумился я, видя, как нас обступают со всех сторон, миролюбиво подначивая обоих.

— Генка, не трусь, вдарь ему. Вот так вдарь. Он хромой, враз свалится с ног.

— Не будьте бабами! Где у вас кулаки? — визжат, хохочут пацаны.

— Ты, сука, заберешь слово иль нет! — петушится Генка, буравя глазами, но трусит, близко не подходит, дистанцию держит.

— Ты, хромоножка, чё стоишь-то, чё ушами хлопаешь? Врежь как следует, он и завоет. Он такой.

Драться я не хотел, да и еще ни с кем не дрался, а с этим клопиком только руки марать. И я, вяло отступая к своей кровати, вопрошал:

— Какое слово? Ты чё, сдурел! — а в глазах меж тем все плыло, кружилось, и лица оттого казались, как одна смазанная фотокарточка.

— Сам знаешь какое, — в очередной раз взвизгивается Генка, краснея, как помидор, вот-вот брызнет кровь из лица со страшными рубцами, из головы, где нет ни единого волоска, и из шеи, и из крепко сжатых кулаков, которыми он машет перед самым моим лицом.

Страшно, муторно, жутко.

— Трус-баба, трус-баба, трус-баба! — скандируют ребята вокруг.

Не меня ли они обзывают трусом? А хотя бы и меня. Пусть. Другого пацаненка я б давно проучил как следует, но этого... А вдруг порвется тонкая кожа и действительно хлынет кровь?

А из перекошенного рта сыплются такие слова и словечки, да обороты речи, за которые, будь Гена в моей деревне, все старики по очереди оттаскали бы за уши. Но тут видно все можно: и без драки петушиться, и, как бабы у взвоза, матерно ругаться.

Э-э, это сейчас мне все в удивление, потом это будет буднично, обыденно и маятно, как данность.

— На, возьми, только отстань от него, — протягивает конфету Руха-Муха, выйдя из круга.

— Подавись, жмот, — взмах рукою — и ириска, описав полукруг в воздухе, падает в подставленные ладони и тут же исчезает во рту.

— Я не попрошайка, — сразу перекинулся Гена на Руху-Муху. — И как тебя, с-суку, сюда приняли?

— От с-суки слышу, — вяло отбрыхнулся Руха-Муха, кидая в рот очередную конфету.

— Пойдем отсюда, — тянет меня новый друг Коля.

И мы по койкам выбираемся из круга, отходим в сторону, и слушаем как, соревнуясь, фехтуют словечками изошренно и страшно два товарища, два одно-классника.

— Он что, того? — спросил Коля у Доржишки и покрутил пальцем у виска.

И в тот же миг Генка оказался рядом.



— Ты сам дурак!

И чем бы все это кончилось, не войди воспитатель. Горелого как ветром сдуло.

Все это и многое другое не давало уснуть. Глушили обида, слезы, и, чтоб не думать ни о чем, я закрылся с головой в одеяло, и увидел другое личико — той плаксивой девочки, которая была отчего-то сутулой, поникшей. Это — как сорвали цветок и подержали на солнце. Но отчего, почему она такая?

Думать о ней оказалось приятно и хорошо, и незаметно для себя я уснул. И снилась мне Нина бегущей куда-то...

— А помнишь случай?

— А то как же! — и друг рассмеялся затаенно и безмятежно.

А дело было так. Оба мы весьма сносно рисовали и потому к каждому празднику писали одни и те же плакаты. Писали по красному полотнищу пастой, сделанной из зубного порошка. Повисит такой плакат с неделю, порошок обсыплется, материал выцветет и полощется на ветру, эдакое безобразие, пока не подойдет новый праздник.

Была суббота, банный день. И, чтоб не тесниться в бане, мы после обеда пошли дописывать лозунги.

Когда пришли в интернат, ребята уже вымылись, и мы рванулись в баню, дескать, займут девчонки — только к ночи освободится, а там учителя пойдут, не вымоешься и не дождешься.

Баня стояла на нашей стороне, за оврагом, и была старой-престарой, по низу прогнившей насквозь. Это потом, когда мы приедем учиться в восьмой класс, к Новому году построят новую, просторную, светлую да душистую, а пока по низу светло и видно хорошо, а чуть выше пупка — густой туман и ни хрена не видно.

Ух ты-ы, девочки! Видно перед нами пришли, тихо разделись в закутке меж стеною и печкою, где стояла лавка, и теперь наливали в тазы воду.

Присели мы на кокурки и давай зырить. Глаза с блюдце, рты раскрыты. Мы-то привыкли видеть иное, а тут — молоко, тела нежные-нежные, а ножки-то, ножки. У-у, красотища — жуть.

По голосам узнали — наши одноклассницы. И Нина тоже здесь. Вон она наливает горячую воду. Налила и с тазом на полку, около нее еще есть место. Ну я не будь дураком, таз в руки, быстренько наполнил холодной водой, разбавил горячей и к ней. Колька живо за мной.

У девочек головы намылены, не видят, не замечают. Сидим офонарелые и стараемся не дышать, какое там, так взвинуло, будь-будь. Но опомнились: головы намылили, меж ног пену вспенили — не поймут, не заметят, зырим во все глаза, а их щиплет ужас как, раздирает, мыло-то хозяйственное. Терпим. Пригляделся, а у Нины спина вся в рубцах. Ой-ё-ёй! Это кто же так ее бил? У кого рука поднялась? Не утерпел, притронулся к шрамику, который начинался у лопатки и уходил вниз до ягодицы, а вон другой, а вон и грудь, и как кто-то резал ее. Дух сперло: и жалко до ужаса, и задорно эдак, как шарики бугрятся и бегают в такт рукам, и белые-белые.

Где ж вытерпишь-то! Объял ладонью, сжал слегка. И что со мною случилось, что сделалось! Кровь, как кипяток, по голове шархнула.

— Не щекоти, пожалуйста, — проговорила Нина, не раскрывая глаз, но вдруг она поняла, раскрыла глаза, тихо вскрикнула. — Ой! — да как завизжит, да как стрельнет вниз.

Что тут началось! Что было! И тазами нас, и водой из бочки холодной полива-

ли. И визг стоял невообразимый. И что самое главное — в этом визге слышалось некое удовольствие, и били-то они нас не так больно, и делали все, чтоб не сразу, не вдруг смогли мы вырваться в предбанник, а потом в школе на уроке исподтишка, подолгу глядели как-то по-новому.

Четыре года Нина маяком светила мне, то поселяя надежду, то изымая ее и вдрызг разбивая.

С ее именем на устах я поехал в иркутскую больницу, с ее же именем перетерпел мороку на операционном столе и после в интернат ехал полный надежд и смутных мечтаний, а по улице шел и тряслись коленки, а глаза жадно ждали ее появления. Я жаждал встречи и боялся ее. Сердце обмирало от счастья, а душа стоном стонала, как-то посмотрит, что-то скажет.

И вот из нашей ограды стремглав вылетаешь ты, Николай, несешься встречь, что-то крича и маша руками. Я остановился, не в силах продолжить путь, оперся о костыли. Стою и жду. Ее жду. И вот показалась она, самая милая, самая желанная девчонка на свете, за ней Ленка-колобок, еще какие-то девчонки, мальчишки. Ты знаешь, я еле-еле сдержал слезы. Вот тут, в горле, комок, радость и счастье, как я тогда устоял! Неведомо.

И вот окружен, взят в тесное кольцо, вопросы и радость. Такое бывает один раз в жизни. И я пережил это. Я видел только ее лицо, и только ее расширенные зрачки. Нет, не могу, дай перевести дух, иначе как идиот расплачусь.

— Да, ты был бледен как мел, и трясло тебя от возбуждения. Помнишь, как подставил я свое плечо, и ты обвис на мне.

— Ну, как? — спросил ты, однако не обнял как прежде, не затормошил, а как-то застопорено замер и не сводил взгляда с ноги и костылей. Ты не это мечтал увидеть?

— Да! Ты прав.

— Ты приехал? — ахает Нина, смущаясь и краснея, и глаз не тупит, смотрит прямо в глаза, и радость ее до сих пор у меня вот где сидит, и я хлопнул ладонью по своей груди.

— А что на костылях-то? — пытается беззастенчиво Ленка-колобок, сияя бусинками глаз.

— Тебя вылечили?! Ты теперь здоров?! — это снова Нина.

А мне нечем похвастаться. Надежды разбились вдрызг. Не о такой операции я мечтал, не такое возвращение видел в мечтах.

— Ты теперь будешь как все? — пытаются, нет, ножами режут пацаны.

И вдруг я вижу больничный коридор, по которому ползут большие и маленькие дети, их исстрадавшиеся, глубоко запавшие глаза, их недвижные ноги, упорство, с каким они преодолевают метр за метром, чтоб доползти до красного уголка и посмотреть чудный ящик, телевизор, по которому показывают всякую всячину.

Именно в эту минуту ты подставил свое плечо, ибо эта картина меня потрясла больше всего на свете. А ведь я мог быть таким же! Понимаешь ты это! Таким! И это меня смирило, тогда и при встрече, но говорить я не мог, как не мог сказать правды, не хотел гасить вашей радости, а лишь немо вопрошал Нину: «Ты будешь со мной дружить?» — «Нет!» — «Почему?» — «Я боюсь» — «Чего?» — «Ты не будешь таким, как все». — «Буду!» — «Нет, не будешь, я чувствую это».

— Так ты можешь о Нине покороче сказать? А! — нетерпеливо потребовал друг.

— Нет, дорогой мой, выслушай все, что дорого мне, все, что накопело и держалось так долго.

Долго во мне вызревало желание встретиться с нею и все объяснить, а главное, сказать, как я люблю ее, как жажду встреч, но удерживало меня лишь одно: кто я и кто она? Ведь все говорило не в мою пользу, и я не смел, и гнал всякие мечты и желания, но они не отступали, преследовали, и вот пришел момент, когда я окончательно понял: надо сказать.

А случилось это на берегу Тайтурки, куда мы пришли учить билеты. Помнишь черемуховые заросли, что перекинулись с берега на берег и так сплелись, что мы на их ветках сидели, как в креслах, посередь речушки. Поучим-поучим и слушаем шелест клейкой листвы, звонливую капель и глухой, урчащий ропот водопада, там повыше, где был залом из бревен, а внизу улово, глубокое и широкое, там мы купальный сезон открывали.

А день был теплый да солнечный, и решили мы искупаться, разделись догола, чтоб трусы не мочить, да и кто мог нас здесь видеть, побесились на солнышке, лежа на спине, позагорали и одновременно сиганули в омут. Вода опалила, ожгла, дух перехватила и вытолкнула наверх. Ух ты! Разминаемся, скачем, зуб на зуб не попадает, кожа синюшная, зато герои — купальный сезон в четвертый раз открыли. Такие вот были! И ругали нас за это, и наказывали, и грозили выгнать, пророчили всякие болезни, а нам хоть бы хны, и не болели мы, и ничто нас не брало, а слова — пустой звук.

И вдруг видим, с нашей черемухи Нина и Ленка слезают. Офонарели, забывая о голых телах, так стояли и ждали, когда убегут да растрезвонят, в каком виде мы открыли сезон, аж дух захватило, не пройдет и часа, как вода здесь закипит от мальчишечьей удали. То-то будет потеха! Но что это?

Смотрим, Ниночка бежит к нам, подбегает и сквозь слезы выговаривает мне:

— Коленька, зачем ты так? Ты больной, тебе нельзя, ты заболеть можешь, — засмушалась, покраснела, резко развернулась и убежала.

И сразу зубы перестали стучать, и жар пошел по телу, и стыд проснулся: это ж надо, они видели нас вот такими. Я аж остолбенел.

— Ты заметил, какую она красивой была!

— Да! До сих пор в глазах стоит. А черемухи те высохли. Ходил я туда. Глядел на сухие остовы и слезы вытирал. Надо же, такую красоту поизломали, поизрубили!

— Был я там по осени, при мне братва рубила и ела ягоды на берегу, стал говорить, так, веришь ли, чуть не побили, кое-как ушел целый и невредимый.

— И я понял, надо сказать, ведь просто так она бы не выскочила к такому голышу, не заплакала и слова не сказала. Написал записку, подложил на перемене в ее книгу и стал ждать вечера, когда стемнеет и не видно будет ничего.

И вот наступило желанное время. Кое-как смылся от тебя — и в рошу, за омшаник на наше любимое место, к развилке двух берез, но теперь их нет, как нет и омшаника, а в пчеловодном домике живет Зинаида Григорьевна с Николаем Михайловичем. Вот я пришел, вынул досочку из-под листвы, установил ее меж берез, сел и, озираясь, стал ждать.

И вдруг страх объял меня — это о чем я буду говорить, и сразу в горле пересохло, сам — как в огне загорел, и так стыдно стало, хоть беги. Придет Нина — не придет, как-то не думалось.

А мысли коварные, вот они, рядом стоят, досаждают, смеются: прочитала твою записку, изорвала, и думать не думает, а ты тут сидишь да огород городишь, уходи. И не вытерпел я, встал, пошел.

Слышу шаги, притаился, замер. «Она! — зазвучало набатом. — Она!».

— Зачем позвал? — тихо-тихо спросила Нина и такая виноватая, испуганная и робкая, как птичка в руках.

— Просто так, — еле выдохнул я от радости, кое-как ворочая пересохшим языком.

А сердце-то поет — пришла! Вот здорово — пришла! Можно говорить сколько хочешь — выслушает, за руку взять — не отымет, но как за руку взять, все онемело, и рука тяжела, не поднять. И все вокруг вроде настаивает, дескать, не молчи, говори, как любишь ее.

— Садись рядом, так лучше. И звезды виднее, — приглашаю я сесть, беря ее горячую ладонь в свою.

— Тихо здесь, темно, я боюсь, — и жметя плечом к моей груди.

— А ты не бойся. Я же с тобой, — и сжал покрепче ее горячую руку, и побужал ток от ладони к ладони.

— И правда, не страшно, а раньше я всего боялась, — и, вздрагивая, заплакала.

— Почему? — дрогнувшим от жалости голосом спросил я.

— От мамы пряталась. Она меня ужас как била. Ты только об этом никому не говори. Ладно? — и посмотрела своими ясными чистыми глазами, из которых катились каплями слезы.

Дрогнуло сердце, зашло от жалости, полуобнял ее, прижал к себе.

— Ты что, матери не родная?

— Родная. Она — сумасшедшая, — как эхо, одними губами, прошептала она и снова заплакала.

Так вот откуда у нее полосы на спине! Вот почему она такая пугливая, замкнутая и грустная.

Привез ее отец, сдал воспитательнице Анфисе Михайловне, чуткой и доброй женщине, и ушел. Нина тогда молча забилась под кровать, собралась в комочек, мышонком затаилась, и большого труда стоило Анфисе Михайловне выманить ее оттуда и быть нянькою и кормилицею.

— За что же мать так с тобой?

— Не знаю. А била страшно. Я пряталась везде, даже в силосную яму закапывалась, и однажды чуть навек там не уснула.

Я спросил ее, отчего, дескать, сумасшествовала мать, и она поведала, что были очередные трудные роды, что дожди проливные разрушили и снесли мосты, и помощь не была оказана, что ребеночек родился мертвым, а мать после этого старшую дочь стала ревновать к мужу.

Больно мне это было слушать и страшно. Больно от того, что Нина тогда плакала горько и безутешно на моей груди, а я гладил ее покатые плечи, волосы, успокаивал, что де теперь-то я никому тебя в обиду не дам, что будем всегда вместе, рядом.

Нина отзывалась на мои пламенные слова легким пожатием руки, и мне сейчас страшно оттого, что ничего этого не состоялось, ничего не сбылось.

И затянулась надолго пауза. Мы с Колей молча смотрели, как отгорал закат, как замедляла свой бег вода, словно притомилась за день и теперь с надвигающимися сумерками решила отдохнуть. Все веяло умиротворением, от которого снова рождалось чувство близости и родства душ...